



ПИСЬМА ¹

К. Н. БАТЮШКОВУ ²

22 февраля 1816 г.



только что получил твоё письмо, любезный мой Константин, и если этот знак твоей памяти меня обрадовал, зато как я был огорчен меланхолическим и скучающим тоном (не говорю: скучным; это для тебя невозможно), которым оно проникнуто. В твои годы, с твоим умом скучать — это поистине больно видеть. Будь я поэт, я натер бы самых мрачных красок, чтобы вырвать тебя из рук того отвратительного чудовища, которого тебе и знать бы не следовало. Я сказал бы тебе: «В мрачном вертепе, среди болот, которых удушливые испарения распространяют вдаль свое вредоносное действие, царствует скука, незаконное порождение музыки, достигнутой во время сна зловредным духом, который ежедневно вдохновляет Мерзляковых и К^о. Чело этого существа бледно, впалые глаза тусклы, лицо посинело, уста искривлены судорожной зевотой, которую оно ощущает ожеминутно — всегда одинокое, всегда преданное само себе. Оно само составляет свою первейшую казнь; дни текут и следуют один за другим с однообразием, которое ничем не может быть рассеяно; оно желало бы заснуть, хотя бы на миг погрузиться в желаемое им небытие, но сон бежит его очей; тщетно хотело бы оно уйти от самого себя, хотело бы покинуть этот вертеп, место своих мучений; невидимая сила приковала его там, и к довершению ужаса у него постоянно пред глазами

шутливые послания графа Хвостова. Беги, беги, молодой человек, сих зачумленных пределов, проклятых богами; бойся пагубного влияния и предоставь сей приют несчастным поэтам, осужденным Аполлоном и квакающим в грязи, в которой они валяются».

Будь я философ-платоник, я представил бы тебе отличное ученое рассуждение о причинах и следствиях скуки, и затем, воспламеняясь постепенно (ибо и философы иногда воспламеняются, особенно у очага дружбы), я воскликнул бы: «О, молодой человек, углубись в самого себя, не присовокупляй бедствий призрачных к тем, которые неотъемлемы от человечества. Поройся в своем сердце, поищи в самых глубоких тайниках его причину зла, которого тебе не следовало бы и знать, и задуши ее в самом корне; стань снова самим собой!» Философ остановился бы тут в своем порыве, быть может, из опасения, чтоб его доводы, поборя зло, не содействовали бы его увеличению.

Наконец, милый мой Константин, будь я эпикурейцем, я взял бы лиру и, настроив ее на Горациев лад, пропел бы тебе: «Видишь ли ты, как побелели наши поля под покровом снега? Видишь ли, как деревья склонили ветви под тяжестью своего бремени и как реки остановили свое течение под дуновением Борея? Гони зиму прочь от себя; не жалея дров для своего камина и возвращайся почаще к сабинской чаше, хранилищу с давних лет чудного фалерна!¹ Что касается прочего, любезный Константин, предоставь заботу богам. Когда им угодно, они заставляют утихнуть ветры, восстающие один против другого на бесконечном океане, и тогда эти ветры не колеблют ни кипарисов, ни древних вязов. Если парка² сплела тебе лишний день, считай себя в прибыли. Берегись забывать и муз любезных, вмешивайся иногда в оживленную пляску, доколе ты еще юн и свеж, и над твоею главой не тяготеют еще свинцовые персты печальной старости; люби, пока есть еще время, прогулки, игры и ночные свидания».

К сожалению, милый мой Константин, я ни поэт, ни философ, ни эпикуреец; я — только твой старый боевой товарищ, горячо тебя любящий, да к тому же увалень попржему. Итак, я не мог бы поведать тебе все эти

мудрые речи, а скажу попросту: очень худо, что ты считаешь, — лучше было бы, если бы ты веселился.

Кстати, милый мой Батюшков, хочешь, я тебе загадаю загадку? Слушай! Третьего дня, в тот самый день, когда я получил твое письмо, я провел вечер в одном доме. Одна барышня (*honni soit qui mal y pense!*)¹, зная мою дружбу с тобою, спрашивала меня о тебе. Я отвечал, что получил от тебя письмо, в котором ты жалуешься на скуку. «О, значит, он влюблен!» — воскликнула барышня. Я ей в ответ: «Вы лучше меня знаете состояние его сердца». «Я знаю, что говорю: он влюблен. Это верно; когда вы будете ему писать, скажите ему, что предмет его страсти меньше танцует, подурнел и утратил свое изящество». Ты поймешь, что я исторически верно передаю слова этой барышни, одаренной такою прозорливостью и такою болтливостью, но готов биться об заклад, что ты не догадаешься, кто эта барышня. Однако чтобы не мучить дольше, скажу тебе, что это — Анна Львовна Пушкина!!!²

Познакомился я также с ее братцем Василием Львовичем, которого знал уже за глаза по твоим рассказам. Я нахожу, что он добродушен до бесстыдства. Поверишь ли? Он хотел уверить отца, что знает по-латыни, взявшись переводить Тита Ливия без приготовления! Это на него похоже.

ДЕВИЦЕ ГЮГЕНЕ³

Васильков, 18 ноября 1825 г.

Посылаю вам через брата две книги. Это стихи Жозефа Шенье и Лебрэна⁴. Когда я просматривал их, мне пришло на ум, что они вас заинтересуют, и я не захотел отказать себе в удовольствии доставить вам чтение, которое, как я уверен, пробудит у вас целый ряд мыслей. Оба автора писали в лирическом и элегическом жанре. Но были ли они талантливее своих предшественников — Малерба, Шольэ и Жана-Баптиста Руссо⁵? Я не думаю. Однако у обоих этих поэтов вы встретите идеи более высокие, чувства более возвышенные и именно потому более истинные, и какой-то — сказал бы я —

порыв, который пробуждает вас от апатии и увлекает к деятельности.

Такое направление их поэзии следует, думается мне, отнести за счет эпохи, полной событиями, в которую они жили. В самом деле, было невозможно, чтобы в эпоху, когда рушилось столько ложных идей и старых предрассудков, умы, освободившиеся от оков, не устремились к мыслям, открывающим горизонты более широкие, и сердца к чувствам, более благородным и деятельным. Среди стольких событий, которые каждого ставили на его место, люди узнали счастье, более достойное высокого назначения человека, и поэзия заговорила языком более мужественным. И движение это, раз возбужденное, не могло замереть вопреки всем препятствиям и должно было в наши дни породить Байронов и Муров¹. Я знаю, правда, одного человека, который не будет со мной согласен, но это меня мало беспокоит. Это г. Пикар², который также принадлежит к эпохе, о которой я говорю.

Вы уже, конечно, читали его «Жильблаза революции». Я уверен, что чтение это не доставило вам удовольствия. Не могу вам выразить, какое удручающее впечатление произвело оно на меня. Я читал, читал и все надеялся встретить какой-нибудь характер, какое-нибудь положение, которое бы меня захватило; и все с тем же чувством постоянно обманываемого ожидания добрался я, наконец, через достаточное количество всяческой трескотни, до последней страницы, где Жиффар, бедный и опустившийся, тем не менее доволен самим собой и философствует, лежа на койке в богадельне, чтобы убедить меня, что он счастлив, потому что у него есть обед, пусть грубый, но зато верный, кров и одежда.

Я пожал плечами и бросил книгу. Есть нечто в высшей степени удручающее в этой манере рисовать падение человека и делать его одним взмахом достаточно-таки пошлым, только для того, чтобы было над чем посмеяться. Сверх того, в этом есть и нечто в высшей степени фальшивое. Кроме того, по моему мнению, г. Пикар — очень поверхностный наблюдатель. Ум у него столь легковесный, столь неглубокий, что ясно, что он всегда замечал только людей самых пошлых. И так как он видел, что для

людей этого склада характерно непостоянство, он и вообразил, что оно является общим правилом для нашего бедного рода человеческого. Но, признайтесь, не стоило писать роман в пяти томах, чтобы развивать идею столь тривиальную и столь ложную, если ей придавать значение общего положения. Ведь это столь же логично, как если бы ему вздумалось утверждать, что так как существуют убийцы и воры, то, значит, люди вообще склонны к воровству и убийству.

Есть, конечно, люди ничтожные, и они-то действительно отягчаются непостоянством, потому что каждое впечатление скользит по ним без всякого следа, так как в сердцах их есть место только для чувств низменных и мелких. Эти люди приспособляются ко всяким обстоятельствам потому, что, лишённые всякой силы в своем характере, они не могут понимать ничего, кроме эгоизма, который заставляет их и в побуждениях других людей находить лишь свою собственную манеру мыслить и чувствовать. Но сами эти люди — не отбросы ли они человеческого рода? И не в противность ли этому непостоянству людей ничтожных мы чтим и особенно ценим людей, которых небо одарило истинной отзывчивостью чувства и деятельным характером? В их природе непостоянства нет, потому что впечатления врезаются неизгладимо в их сердца. Жизнь имеет для них прелесть только тогда, когда они могут посвятить ее благу других. Они отбросили бы ее, как бесполезное время, если бы они были осуждены посвящать ее самим себе. В своем собственном сердце находят они источник своих чувств и поступков, и они или овладевают событиями, или падают под их тяжестью, но не станут к ним приспособляться.

Мне кажется, что, если бы г. Пикар развил эту истину, совершенно противоположную его банальной идее, он нашел бы перспективы более удачные, более благородные и мысли более глубокие, нежели те, которые он заимствовал у своего Жиффара. Если он не сделал этого, то — я не боюсь это сказать — по недостатку таланта. Доказательством этого для меня — его герой, молодой Бомон¹, характер которого он очерчивает рукою, столь вельювкой и неискусной, и от которого он всегда спешит

избавиться как можно скорее, так чуждо ему подобное общество, тогда как он не налюбуется на своего Жиффара. Но не утешительно ли думать, что все воззрения, которые унижают род человеческий, оказываются ложными и поверхностными?

Я преподношу вам довольно длинное рассуждение, но вы не должны этому удивляться: когда беседуешь с особой, которая имеет обыкновение размышлять глубоко, это пробуждает в нас поток мыслей, которому нет конца. Вспоминаете ли вы, mademoiselle, наши долгие беседы в Кибинцах? Что касается до меня, то сколько раз я мечтал о том, чтобы они возобновились! В ожидании этого времени, которое будет для меня очень приятно,

примите уверение в почтении и уважении, которые питает к вам преданный вам

С. Муравьев-Апостол.

